

Литературоведческий журнал. 2010. № 24

Сергей Федякин

**В ПОЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И МЫСЛЬЮ
(Творческий портрет Георгия Гачева)**

Комнатка его, и без того небольшая, заполнена шкафами и полками, всё забито рукописями, которые - в большинстве своем - до сих пор не увидели света. Жилище, внешняя среда обитания человека, всегда отражает его нутро, его личность. В комнатке, где каждое утро Георгий Гачев пишет свои «Жизнемысли», сильно ощущается теснота, не просто сдавленность, но какая-то винтообразная уплотненность пространства: рукописей множество, и они уже вылезли из шкафов и полок, закружили по комнате, лежат на рабочем столе, на каком-то маленьком столике у двери. Но есть здесь и ощущение свободы. В комнате холодновато, балкон прикрыт не плотно. Хозяин часто проветривает, чтобы, словно, разомкнуть пространство своего кабинета, со светом и ветром (по Гачеву «свет + ветер» = «светер», одна из существеннейших составляющих русского образа мира) впустить ширь, поскольку в просторной комнате и мыслить просторно (ещё Достоевским сказано), и если не дали современные архитекторы такого простора, его надо самому создавать: пусть придется сидеть в телогрейке, но свежесть и простор необходимы для «привлеченного мышления», которое уже давно стало главным способом познания правды и истины для Георгия Гачева.

Однажды пережитый кошмар - когда еще в молодые годы проснулся среди ночи, ощутив вдруг весь ужас на душу давящих книжных шкафов, после чего бежал на два года от умственного труда в слесари и матросы - своим жизненным сюжетом воспроизводится в этой обстановке, где есть и стимул бежать в жизнь (тяжесть неизданных рукописей), и успокоенное уже дыхание, вместе с морозцем вошедшее через балконную дверь. Неспроста работа, последних лет приобрела предельную жанровую простоту «Жизнемыслей», где нет уже никакой необходимости переключаться на изучение специальных предметов и наук: уже столько всего изучено, что ум пресыщен отвлеченным знанием и занимается вроде бы самым обычным делом. Есть жизнь, иногда - с первого взгляда - самая мелочная, и есть мысль, которая из даже случайного и мимолетного события вдруг выстраивает что-то неожиданное, находит глубину даже в невзрачном эпизоде, утверждая тем самым высшую правду жизни: нет мгновений интересных и неинтересных, жизнь интересна всегда и всегда неожиданна, и только мы - по слабости своей, умственной и волевой - придаем большой вес лишь редким фрагментам нашей жизни, не замечая, какие ценные пласты нашего собственного бытия погружаются в Ничто.

Но до «Жизнемыслей», до той простоты, когда жизнь и мысль стали нечто одно, нерасторжимое целое, был долгий путь, начатый ещё при жизни отца.

Дмитрий Иванович Гачев, «болгарин в России», был в 1938 году репрессирован, и дума об отце стала важнейшей составляющей личности сына,,,

- Он был осужден на восемь лет с правом переписки, мы имели от него письма, и он непрерывно за мной следил и направлял. В восьмом классе я уже как-то нацелился на литературу, и отец мне прислал оттуда список мировой литературы на два года - от Гомера до Гамсуна - изучать в школе. Потом я стал композиторствовать. Он советовал, как быть, как сочетать занятие музыкой, литературой и языками, очень трепетно ко мне относился. Один человек оттуда вернулся - рассказывал... Отец чувствовал, что наверное погибнет, - и он как бы волнами какими-то, флюидами переливал свой дух в меня. Моя жизнь - это, как бы, не дожитая и продолженная жизнь отца. Я постоянно его чувствую. Когда испытываю какие-то неудачи, - не печатают или еще что, - я думаю, если бы отец получил такое: вот тебе квартира в Москве, изба в деревне, возлюбленная жена, семья, пиши что хочешь - даже если при жизни ничего не напечатают, а после смерти - неизвестно, ну разве не счел бы он это за рай?.. Я всячески стараюсь воскресить отца - публикациями, книгами его... И потом, конечно, его тип мышления в меня вошел, потому что это синтетическая фигура. Он писал: «Вагнер и Фейербах», «Декарт и эстетика», одержим был идеей синтеза искусств и слияния их с философией. То есть - здесь проблема целостности культуры, не разбросанной по специальностям.

Синтетизм, как исходное личностное качество Георгия Гачева проявил себя уже в ранневозрастной дилемме: литература или музыка. Но и когда, окончив два курса теоретико-композиторского отделения училища им. Гнесиных, Гачев сделал - как тогда казалось - окончательный выбор: литература - музыка не ушла, она не только не исчезла из поля зрения, но и впиталась в само мышление:

«...Камень (или человек) или есть в этом месте, или нет его, и есть другой; но чтоб вместе и одновременно и одноместно - это исключено - при световой и твердительно-формальной и рассудочной картине мира.

А вот при волновом и музыкальном подходе и мышлении о Бытии - это все возможно и не вопрос: разве не могут через точку уха моего одновременно проходить волны арфы и флейты, и трубы, и челесты и т.д.? Тут - демократия и образец такого устройства существования, в котором каждый остается сам собой и не мешает другому и не вытесняет его; в одной точке живут-сказываются-проходят «эн»-миров, сходятся из «эн»-измерений, и понимают, и не понимают друг друга - как хочешь, полагай...

А социум весь доселе жил-ориентировался не по звуко-музыкальной = волновой, но по корпускулярной модели космоорганизации.

По ней – лестница и гора, и здание существ, и одни – в нижних этажах, другие – в вышних, и или одни или другие едят и властвуют – и, значит, нужно вытеснение и борьба и разбив форм и тел и предметов, перераспределение в пространстве: отнять у высших сословий и отдать на нижние этажи и т.п. ...

Итак, музыка может быть и все устрояющей (и всех устраивающей) моделью мироустройства: по образу и подобию – интерференции волн – могут и все бытия устроиться, не мешая друг другу – и в одном месте и времени обитаючи».

Этот фрагмент из «Жизнемыслей» («волны и корпускулы») – не только о волновой природе и сущности музыки, но он сам пропитан этой природой, поскольку мысль здесь не понятийна (= не «корпускулярна»), но переливается ассоциациями. Метафорами насыщена, причем метафорами становятся и «чистые» понятия (те же «корпускулы», та же «интерференция волн», переносимые из естествознания в область социума и морали). Понятия у Гачева приобретают образную окраску, утрачивая абстрактность, оживают на глазах и превращаются не просто в образ, но в нечто синтетическое – «образ-понятие», «мыслеобраз».

«Есть мысль, – толкует свой метод Георгий Гачев в другом месте, – как четкая форма, рациональное понятие, рассудочное определение, «мысль-атом», «мысль-частица» (если использовать современный взгляд на строение вещества); а есть «мысль-волна», «поле», более расплывчатое нечто, где рациональное сопряжено с эстетическим и эмоциональным. Это я называю – «мыслеобраз». Работа я мыслеобразами есть особый род духовной деятельности, где соединяются рассудок и воображение, упражняется и рационалистическая наша способность, и художественная, и оседает она в текст, имеющий как научно-интеллектуальное, так и художественное значение»(7,).

Это желание быть и мыслителем и художником одновременно – неизбежно для «синтетика», оно неизбежно потому, что любая односторонность для человека синтетического склада ума – равносильна комплексу неполноценности, всякая «частичная» деятельность вызывает боль по утраченной целостности, жестокую ностальгию по неосуществившемуся в себе. Но «мыслеобраз» – вовсе не выдумка самого Гачева, рожденная из собственной головы для обслуживания своих устремлений. Ареал «мыслеобраза» широк: от стихий древних философов («земля», «вода», «воздух», «огонь») до философских образов романтиков и «понятий-образов» в русской культуре XIX века (те же «обломовщина», «Мертвые души», «лишние люди», которые по сути превратились в социологические категории, отражающие бытие русской жизни XIX в.). Да и научные понятия не слишком сопротивляются метафоризации потому, что в основе их тоже лежит – уже стершийся и часто едва различимый – образ. (В одной из статей своих Георгий Гачев сделал такой «обратный перевод» ряда понятий – в изначальные, в их основе лежащие образы, и получилось, что

«атом» - не что иное как «индивидуум», «точка» - «укол», «ион» - «идуший» и т.д.). Само мышление человеческое, постигая мир, отсекая от него фрагменты и в них погружаясь, меняет и мыслительный инструмент, всё более «затачивая» исходный образ, объемный и многоцветный, в стальную секущую плоскость понятия. И путь этот проходит не только исторический человек, но и любой ученый, создающий новую теорию, даже такой, вроде бы, сухой и чопорный как Гегель. Стараясь развернуть свою систему именно как систему понятий, он, в более раннем, йенском наброске системы не чуждался стихии образа: «*Ночь-хранительница*. Этот образ (в контексте дальнейшего изложения системы, где «ночь» выступает как вполне продуманный термин, это скорее «образ-понятие» - С.Ф.) принадлежит духу, его простой самости...» (8,289).

Психика человека (Гегеля в данном случае) в процессе мышления проходит ступени превращений, подобные тем, которые испытывает и всё человеческое познание: образ – слеобраз – понятие. Но усовершенствуя всё в одном и том же направлении свое мыслительное орудие, «затачивая» понятия до предельной остроты, мы – обретая способность глубже вгрызаться-врезаться в каждый отдельный кусок мира – утрачиваем его целостность. И путь к целостности неизбежно обернется реабилитацией образа. Этой дорогой и движется мыслитель синтеза, Георгий Гачев.

Помнится, проникая в текст «Первого учителя» Айтматова, он в репликах персонажей (самых простых людей) нашел что-то созвучное ходу рассуждений Канта. Следуя привычным ходом нашего сознания, здесь можно недоумевать: откуда здесь Кант? Между патриархальным бытом киргиза, изображенном в повести Айтматова, и бытом немца XVIII столетия - историческая дистанция, исчисляемая несколькими веками, и, следовательно, сам стиль мысли и проблемы, стоящие перед германцем XVIII в. и киргизом начала XX в. - разные. Но все же Кант возник у Гачева не на пустом месте. Его «стиль» мышления - закономерен в движении человеческой мысли на *разных* уровнях абстракции. «Зачаток» Канта есть уже в философии Горгия Леонтийского. Но подобный же «зачаток» - есть и в самых «обиходных» оборотах человеческой мысли. Разумеется, в репликах персонажей повести Айтматова уровень этих «логических ходов» еще детский, наивный, едва даже заметна в них собственно *логика*. Но без этого «детского» уровня невозможен был бы и никакой Кант.

Из реплик персонажей Айтматова, разумеется, нельзя вывести «чистого» Канта. Но такого *понятийного* вывода там мы и не обнаружим. Кант используется Гачевым как *орудие мышления*, а не вывод; «Критика чистого разума» работает здесь не понятийно, но метафорически, что и рождает «мыслеобраз».

Впрочем, и это еще не все. Ускоренное развитие того или иного народа (в свое время исследованное Гачевым), резкая смена жизненных укладов (в Киргизии патриархального была – скачком в эпоху НТР)

заставляет задавать себе все вопросы, «пережитые» цивилизацией за тысячелетия. Но вопросы эти возникают уже не последовательно, а «параллельно». Проникновение Гачева в такой культурно-временной «параллелизм» отразилось и на его мыслеобразе.

Впрочем, рассказывать о стиле Гачева, пытаться описать его метод – вещь совершенно невозможная, если не пройти по его тексту; и не только пробежать глазами – но и прощупать сознанием своим все эти смысловые сплетения и прожилки, особенно если это такой текст, где сосредоточились все его основные интересы: национальные космосы, естествознание, просто «любимцы» - например, Декарт.

«Мы автоматически повторяем: «Пространство и время», - обязательные вместе, как уж неразделимое сочетание, наподобие фольклорных сращений: «красна девица», «бел-горюч камень» и т.д. А вот Рене Декарт, например, в таком сочетании не чувствовал надобности.

Есть сплошняк протяжения-притягивания (extension), все плотным веществом залито из частиц с разным движением-кишением: ну да, в кишках бытие; мир – как сплошная внутренность без границ. Внутрь нас если опустимся, понадобится ли нам там пространство и время?..

Пространства в нутре вообще нет как об-шир-ности: тут в-ширность, все притерто друг к другу, касается, испытывает сжатия...»

Мысль Гачева словно движется сразу в нескольких плоскостях: здесь и чистые понятия (пространство-время), здесь и фольклористика («бел-горюч камень»), здесь и физиология (это почти осязаемое дрожание внутренностей), здесь и лингвистика. «Об-шир-ность» и «в-ширность» - это как бы уже внутри слова проведенный морфемно-семантический анализ. Выделяя префикс «об», Гачев дает почувствовать размах обхвата, который созерцает в корне слова явленная «ширь». Мышление это полифонично (каждая плоскость, каждый уровень текста – как отдельный мыслительный голос) и в высшей степени синтетично, ведь не о разном пове\ствуют эти голоса, но о Декартовой картине мира. И, разумеется, у этой картины есть оппозиция – Ньютон, который предстает перед читателем на редкость воинственным в своем видении мира, поскольку декартов мир выворачивает чуть ли не наизнанку:

«Это был подлинный поход на материю как протяжение-полноту. Он её рассек и вычленил как бы «сокрытые» в ней представления и обособил их: выделил *массу*, которая есть уже обесмысленная материя, чистая пассивность; а смысл, выдвинутый из материи, представленной теперь как масса (а ее, материи, свой смысл был: притяжение – *это* способность), извлек квинтэссенцию (но уже не материальную) и представил её как абстракцию нашего ума, и рас-ставил по краям опустошенной таким образом Вселенной...»

Мы словно читаем о каком-то истребительном набеге неприятельской армии, настолько ориентирован этот текст на выражения, больше принятые при описании битв, чем научных теорий: «поход на

материю», «он её рассек», «опустошенная» Вселенная... Но «набег» этот был вполне реальный, поскольку цивилизация, столь жестко сдавившая и вконец поработившая человека, черпает силы свои как раз из научных абстракций, столь же как и она безразличных к личности (вспомним противоположный «духу музыки» корпускулярный мир). Но смешно же предъявлять претензии абстрактному знанию, оно не вписывается в человеческую мораль и нравственными императивами не может быть «поймано». И Гачев делает следующий ход, от образа 0 к мифу:

«Итак, Пространство и Время были выужены из моря Матери(и) и, родившись, убили и отменили собой мать: сначала – почти, у Ньютона, а потом философски почти совсем (Кант), а уж в энергетических теориях XIX в. и в кинетических (квантовая, относительности) XX в. – и физика стала без физики (ибо физика от \\\\\\\\\, природа). И у Эйнштейна, в формуле $E = mc^2$ масса тоже на l и t , скорость, свет...

Но совесть в физике есть?!»

Этот истошный крик не только к физике обращен, но через нее и ко всей цивилизации, превратившей человека в абстракцию. Но именно «заземлив» чересчур «высокий» научный язык на миф, Гачев и смог повернуть науку в сферу нравственности.

«И первородный грех убиения матери(и) стал сказываться в физике в *парадоксах* теории поля, изгибах – искривлениях, чудесах и фокусах ползучих мер (растяжимых, т.е. вон где опять материя-притяжение выскочила: в окно забралась, коль гонят в дверь). Вот и лихорадит нынешнюю физику – как Ореста эриннии за матереубийство. Орестов грех в ней, комплексом Ореста она одержима».

Нагнетая в своем повествовании ощущение всё большего «отлёта» науки от живой действительности, показывая устремление научного знания ко всё большей абстрактности, мысль Гачева движется совершенно в обратном направлении: от понятий – в образ и далее – к мифу. И мысль его таким попятным движением словно мстит науке за чрезмерную абстрактность. Она как апейрон Анаксимандра, судит и выносит приговор. Самим своим существованием такое синтетическое мышление утверждает, что никакая система абстракций не может безраздельно существовать и властвовать, что рано или поздно она взрывается парадоксом, т. е. катастрофой самого способа мышления абстракциями. Но это лишь малая часть того внутреннего катаклизма, который должна испытать «чистая» теоретическая мысль, когда в основе её Гачев обнаруживает «образный априоризм», её изначальную «нечистоту», её национально-образное, почти народно-крестьянское происхождение, предающее на осмеяние весь её аристократический дух. Оттого и так трудно доходят сочинения Гачева до чистых теоретиков, что признать правоту за такими писаниями синтетического ума – это признать и определенную «неполноценность» науки.

- Семиотики? Они меня на дух не приемлют. Я для них какой-то соблазн и шарлатан. Сейчас-то уже не так, но раньше... Они претендовали делать строгую науку, у них строгий язык.¹ В этом был и азарт их, они смогли целую культуру построить. Тут они, конечно, и с математической логикой сомкнулись. А я с самого начала бунтую против строгой научности и прямо мифологизирую. Хотя и они, вроде, Целым занимаются: через уровни, через структуры – выстраивают Целое. И потом, конечно, они строго образованы. Образование и у меня некоторое есть, но несравнимо меньше, чем у них, и не такого информационно-эрудиторского характера. Я слишком занят интроспекцией, вниманием к себе, к тому что происходит, к взглядыванию. И жалко мне сидеть к читать какую-то ученую статью, когда в это время мог бы жить. Вот я говорил: боюсь жизнь не прожить. Ну что я буду читать докторов этих, которые сидят там, решают какой-то «вопрос»! А в это время я мог бы любить, дрова колоть или еще что-нибудь – мне желанней прямой контакт с Бытием.²

К рассказам об интеллектуальной деятельности: образовании, творчестве, у него непременно примешивается вопрос о простом человеческом бытии. Конечно в образовании школа дала очень многое («Серьезные учителя у нас были, еще из старой интеллигенции.³ Вообще, сильная была среда. Сейчас половина нашего класса - доктора наук.»). Не случайно из одноклассников много вышло людей известных: археолог Янин, лингвист и симиотик Вячеслав Иванов, дипломат Молочков... Ещё больше дало самообразование, ведь тут и моральная сторона играла свою роль: руководствовался наставлениями гонимого и страдающего отца, его план осуществлял, его дух в себя впитывал. («Особенно я тогда проникся античностью. Отец очень много дал в том списке античной литературы, мифов. И на такое молодое ещё сознание это очень сильно легло. Даже сейчас я чувствую, что по типу мышления я – платоник, досократик даже, потому что я мыслю стихиями, мифами. Этот тип мышления глубинным пластом во мне залег».)

Но пожалуй ещё более мощно повлияла судьба, когда забросила несколько семей музыкантов – в эвакуацию под Бугульму. Наставляя своего юношу-сына, отец Гачева писал ему из своего горького «колымского далека»: «Не думай, что мудрость и знания, которые получишь из книг, богаче и выше мудрости и знаний, которые получишь из жизни». Это сближение с мудрой обыденностью жизни и произошло во время войны:

- Бугульма - это Татария, а в семи километрах – русская деревня Казанка. Мать там стала работать на току, крестьянкой. Асламазян, например, знаменитый виолончелист, там был конюхом... Мне двенадцать

¹ - Причем этот язык они выработали вначале как такой шифр-воляпук, жаргон, на котором они могут говорить о самых глубоких, так сказать, «опасных» вещах – и их не поймут. Они ушли в такой как бы общенаучный жаргон, который вроде идеологии не касается.

² - то есть, у нас и чисто личностные установки разные.

³ - Когда я их сравниваю с теми учителями, которые учат моих детей... Нанешняя школа – ниже рангом. Школа тех лет действительно была – *школа*.

лет было. И главное, впервые мне открылось это: русская деревня, природа, зима, крестьянство, сельский труд. И это так увлекло! Я сам стал на лошадях работать, пахать, боронить; верхом гоняли за километры в ночное; косить научился... Война здесь как бы обернулась благодетельной стороной. Это было для меня каким-то даром срастания с русским крестьянством, землей... Поэтому я потом всё мечтал занять избу.⁴

Потом, по возвращении в Москву, был и холод, и трудные времена, но наиболее ярким, на всю жизнь оставшимся, было это вращение в обычную, природой устроенную жизнь. На этой почве позже и «комплекс» возник: боязнь жизнь пропустить.

- В детстве я был одинок, семьи-то не было: мать да я. А в университете – товарищи, компания. Я тянулся к ним – и не получалось: не клейкий был. А было время какой-то комсомольской «неоромантики». Я туда и прилип, хоть для какого-то коллектива. Это, от одиночества было, суррогат общения. И это отнимало много времени, поэтому я плохо использовал университет. Вообще, культура, которая окружала меня с детства, книги – отец собрал огромную библиотеку, тысячи книг, – я этим был, как бы, пресыщен. Мне гран обычной жизни был дороже чем культура. Это от такой ненормальности детства. Поэтому я так много жертвовал культурой в университетские годы...⁵

Когда в человеке образуется такая тяга к жизни, тогда и мыслительное творчество превращается в переживание. Поэтому и сами идеи Гачева столь «чувственны», ведь он не промысливает предмет, а словно вживается в него (пусть это будет совершенно абстрактная вещь, хотя бы даже математика), и уже изнутри этого предмета описывает свои мысли-ощущения. Желание уйти в жизнь предмета, слиться с ним – это всё та же установка синтетического сознания: не на сторону предмета смотреть, на сечение единого объекта изучать, но – прочувствовать его в целостном бытии, стать на время секретарем этого целого, чтобы оно диктовало тебе повесть о своей жизни. Отсюда и вопрос о жанре. Наука не приемлет чувственной стороны, литература – сугубо мыслительной. Книга «60 дней в мышлении» (переломная для Гачева), повествующая как раз о жанрах, так и не могла увидеть света в полном своем составе, потому что выпадала из всех известных жанровых канонов. Здесь три слоя текста: собственно трактат (этот слой опубликован был отдельной книгой «Содержательность художественных форм»), дневник автора того же времени, в котором запечатлелось это вызревание общих идей из самых обыденных житейских событий, и – комментарий, связующий оба текста в единое целое. Сама книга – это своего рода трехголосая fuga, которая, исследуя жанры, вырывалась из круга всяких жанров (да и как иначе можно исследовать предмет, не выходя за его пределы?). Так и был обретен собственный жанр «Жизнемыслей», который часто сравнивают с книгами Василия Розанова.

⁴ ...и вот, наконец, это осуществилось, так же себе хозяйничаю, без этого не могу.

⁵ - Потом, когда я уже в норму пришел, женился, тогда уже стал опять читать, образовываться.

- Я в традиции русской философии именно по незавершенности, отсутствию вкуса к форме, близок тем, что могу въедаться во что-то, потом – бросить. Но чтобы кто-то влиял?.. Ну вот говорят: Розанов. Одни: он пишет как Розанов – как же можно! Другие: Розанов – это хорошо. Но Розанова я потом прочел, когда уже этот метод «жизнемыслей» выработал. Для меня главным учителем здесь был Гегель...

Первые произведения Гачева были не столь «полифоничны», и к строгой науке стояли ближе. Сказывалось влияние «понятийщика» и «системщика» Гегеля. Но и «60 дней в мышлении» (каждый, кто читал «Содержательность художественных форм» почувствует это) во многом ещё написаны в гегельянской традиции, а «жизнемысли» уже появились. Здесь не исключено совпадение с Розановым, но ведь исток *своего* жанра – даже если он в чем-то похож на другого – не может быть вычитан, его *самому родить* надо. И само трёхголосие в «60-ти днях» - тоже вещь не случайная, здесь явное влияние гегелевской триадичности. Потом, в более позднем сочинении, сходном по своему строению, «Зимой с Декартом», появится четвертый голос - тексты самого Декарта, и сам предмет уже говорит своим собственным языком, а авторские голоса вьются вокруг первой скрипки, чтобы подголосками и сопровождающим басом виолончели раскрыть смысл этого языка, проявить его бытийное существование в обыденной жизни. В начале же пути влияние отражалось и на форме произведений.

- В философии мне, конечно, Ильенков помог, Эвальд Васильевич. Он умел реально представить те вопросы, на которые философы отвечают. Он дал этот ключ к их языку, Гегеля мне помог раскусить, и сразу всё прозрачно стало. Это было сильное влияние. Гегель слишком как-то заполонил: весь этот историко-логический схематизм - в нем, собственно, и написаны мои первые работы. Пафос исторической стадильности, шествие духа в истории - в этом ключе писались и «Жизнь художественного сознания», и «Ускоренное развитие литературы», то есть это как бы «неогегельянские» и «младомарксовские» работы. Следующий был Бахтин, который помог эту рассудочную целесообразность преодолеть. Но он пришелся уже на более зрелый возраст, когда я уже отчасти сам выработал свою методу. А главное, конечно, все-таки Гегель. Ведь в чём главное божественное таинство и метод его? Он умеет вещь прочесть как Дух. Особенно сильны «Философия природы» и «Эстетика». Он берет какой-то самый заурядный предмет, и вдруг его так истолковывает, что тот весь сочится духом, смыслом. Вот это для меня уже метод толкования вещей, как Пифия какая-то, как медиум... Берешь Тютчева, или Декарта – и вот толкуешь это как смысл.

В поздних работах Гачева трудно отыскать Гоголевский схематизм. Не умение толковать предмет привилось и стало давать самые неожиданные плоды.

«Россия есть на Земле страна рассеянного бытия по преимуществу, бесконечный простор, где *светер* (свет+ветер) гуляет и

любит мать-сыру землю. И вдруг ей задана такая крепь, как Петербург – кулак, острое, приемно-излучательная антенна, где волны Европы улавливаются и западное влияние (здесь – седалище «западников» в XIX в.) и где энергетика России собиралась в цивилизацию и снопом излучалась в мир.

Но Петербург не есть Россия. И остатняя Русь не есть Россия. Россия осуществляется как бесконечный диалог Петербурга и Руси, города и дороги. Прочтите «город» наоборот – и выйдет «дорог’а»: они – антиподы. Петербург есть «место», точка, а Русь – путь-дорога: дорога – дорога’ народному сознанию, потому и в песнях она. Суть России реализуется именно диалогически, как взаимообращенность города и дороги на «ты» друг другу (а не единым монословом) в соужение, но и в яростной полемике, как и пристало протагонистам большого диалога. Россия ощущалась всеми её писателями как незавершённое бытие, открытое»⁶.

Это лишь малый фрагмент статьи «Космос Достоевского», где обилие мыслеобразов-неологизмов с «мерцающими» смыслами просто невероятно: «светер», «огне-камень», «водоземля» (=мать-сыра земля) и т.д. Здесь отчетливо слышится язык древнегреческих натурфилософов. Изначальные стихии - смешиваются в более сложные мыслеобразы, где «воздух» трансформируется в «ветер» и смешивается с «огнем»-светом, «земля» пропитывается «водой»... Но голос натурфилософии в гачевских «национальных образах мира» слышан явственно и непреложно. Даже в обозначении жанра иногда прямо указывается: «45 натурфилософских романсов на стихи Тютчева». Вроде бы натурфилософия давно вытеснена естествознанием и похоронена. Но вдруг - через Гачева – она обретает новую жизнь, уже в культурологи. Может быть и в самом этом возрождении древнего типа мышления на новой почве - есть своя закономерность?

- Я думаю - да, потому что потеряна целостность. Мы имеем лишь калейдоскоп множественных знаний, специализаций, когда уже разбита вся картина мира. Её можно опять возродить, прибегнув к образу, к мифу. Вот потому сейчас, в X веке, все так прильнули к архаическим формам мышления: и Фрейд, и Юнг, и Леви-Брюль, Леви-Стросс, и Топоров наш, и Иванов - все соприкоснулись с мифом. Или Айтматов, Маркес - это всё миф, который позволяет вырваться из этих бесконечных частичных сведений, информации, и построить мир как целое.

Исследование национальных космосов - это тоже был выход на Целое. Единый для всех универсум - по-разному отражается в национальных образах мира. Чисто научных «критериев истинности» своих построений, Гачев, конечно, не имеет. Но он умеет так вжиться в исследуемый Космо-Психо-Логос, так описать его, пропустив через собственные ощущения, что начинаешь, читая вышедшие в прошлом году «Национальные образы мира» (опубликована лишь малая их толика), почти физически ощущать кригизский «скос», болгарский сферический, замкнутый мир, русскую из

⁶ Космос Достоевского // Национальные образы мира. С. 186-187.

точки разбегающуюся бесконечность... Критерий здесь, скорее, художественный: интуиция.

- Да, тут, пожалуй, интуитивно, на глазок. Делаешь вывод из многих наблюдений, что, допустим, в германстве - время важнее пространства, в России - наоборот; в России - горизонталь, в Германстве - вертикаль, глубь, высь. Это всё на основании многих чтений, ассоциации и с философией, и с литературой, и с музыкой. Допустим, разлив рахманиновской мелодии - это горизонталь, а бетховенские темы, эти восхождения, - вертикаль. В общем, это такие интуитивно-эмпирические наблюдения.

Свои произведения Гачев часто именует «драмой мысли». В науке только система понятий (а не отдельно взятые абстракции) может дать нам целостное представление о том или ином объекте. И необходимым способом его воспроизведения часто становится «восхождение от абстрактного к конкретному», где логическое описание как бы повторяет историческую жизнь исследуемого предмета, но очищенную от побочных линий и случайных вкраплений. Если рассмотреть движение мысли Гачева, мы обнаружим заметное сходство его «драмы мысли» с этим методом, только движется мысль не через понятие, а через «понятия-образы», мыслеобразы, и движется с отступами, отскоками на эти самые побочные линии развития (только не предмета, а мысли). Процесс писания здесь совпадает с процессом мышления, и потому сам текст фиксирует историю мысли. Получается, что автор, разыгрывая в своем сознании эти мыслительные баталии, является своеобразным микрокосмом (каким издревле считается человек в народных представлениях), и история этих баталий оборачивается «драмой» идей внутри этого микрокосма, подобно тому, как в макрокосме разыгрываются драмы идей между разными учеными и мыслителями.

Но «драма мысли» живет не только в тексте, но и в сознании самого Георгия Гачева. Она-то и привела его к естествознанию.

В первую нашу встречу (доперестроечные еще были времена) он удивил меня своим обликом. В джинсах, по-мальчишески худощавый, черноволосый и не особенно стриженный, он чем-то напоминал подростка, хотя ему было за пятьдесят. Дело было даже не во внешности, но - главным образом - в отсутствии той нарочитой солидности, важности, которой, как правило, болны взрослые люди.⁷ Ведь и поступки его были не по-взрослому смелы: ну кто же из научных сотрудников ИМЛИ бежит в матросы? («А мне

⁷ ...И «подростковость» эта была – как я потом понял – одной из наиболее существенных черт Георгия Гачева: чтобы писать с такой свободой, не стесняясь играть с лексикой, не смущаясь полной раскованностью собственного синтаксиса, нужна именно смелость подростка. Если даже не вслушиваться в содержание, а следить за одной лишь формой изложения, эта смелость бросается в глаза: «...Итак, Декартово тяжение – это самоучреждающая(ся) полнота матери(и): по образу и подобию жидкости растекается и, растекаясь, именно творит, образует протяжение (КЧИКМ, 200). Но одной смелостью формы Гачев, конечно, не ограничивается. Смелы и темы его книг, и само их разнообразие. Менее всего он похож на узкого специалиста. Писал книги по теории литературы, был культурологом, постигал национальные образы мира (спектр «пережитых» им национальных космосов тоже нередкость разнообразен), создавал «гуманитарный комментарий к естествознанию»... Гачев не ограничивает своих интересов, он готов охватить мыслью любую проблему, с которой он может столкнуться.

хотелось тогда именно простой жизни, - поясняет Гачев, - хотел попробовать, могу ли я простым физическим трудом прожить, в не только умом и книгами»). И потом этот неожиданный каскад интересов: литература - национальные космосы - гуманитарный комментарий к естествознанию... Для того, чтобы так менять поприща, нужна как раз мальчишеская безбоязненность, особенно когда из гуманитарной сферы хочешь шагнуть в более «точные» науки. И что затащило гуманитария в естественнонаучную среду: национальные образы мира, которые проявились и в строгих выкладках ученых разных национальностей, или как-то внутренне к этому повело, захотелось узнать и *это*?

- Всё как-то вместе совпало. В исследовании национальных космосов у меня стал очень натурфилософский аспект усиливаться, и это влекло. А потом чувствую: Боже! Тут кругом НТР, физики - важные такие, а я ничего не понимаю в этом! Комплекс неполноценности гуманитария стал меня мучить. И я просто из-за жажды вот этот вакуум засполнить, стал с огромной охотой заниматься: и физикой, и химией, и математикой... Ну - целая неисследованная земля! И я всё записывал, все эти ассоциации, так что это всё ещё ждет своих публикаций.⁸ Вот, «национальные гидростатики»... Архимед, Стевин, Галлилей, Паскаль - пожалуйста. Как одна теорема доказывается ими по-разному. Способ, кажется, на удивление простой: изучай – и пиши дневник. Но ведь не просто это дневник, а предмет, пропущенный через себя, это предмет тобою говорит, через тебя вещает. Но кто возьмется опубликовать тот же «Дневник удивлений математике» или «Гуманитарный комментарий к физике»? Да не публикации даже – обычного понимания не найдёшь.⁹

Они не понимают ни задач, ни идей, а - похахатывают. Даже Ильенков, учитель мой, - он меня всерьез никогда не принимал. Прочел «Космос Достоевского» - ха-ха, весело! Вот способность воображения! Каждый со своей точки так покосится: вроде любопытно, но не наше. И вот, сделав такой эллипс, я опять вернулся к литературе. Хотя мне жалко, я много мог бы ещё сделать!

Синтетическое мышление всегда рождает необычные жанры, и потому Гачев – уже приговорен сознанием сугубо профессиональным. Перед ним он - жанровый преступник, человек, преступивший общепринятый канон. Ведь и проблема содержательности формы, главного героя «60 дней в мышлении», стала столь болезненной, столь личностной, потому что рукописи Гачева стали вызывать недоумение: «Что это?» Полистают, пожмут плечами, улыбнутся – и вернут: «Нам не надо». А то ещё назовут эти работы "элитарными" потому лишь, что они «чересчур странны». Но синтетическое мышление – не может быть элитарным! Когда текст слоится, играет разными смыслами образами и дерзает на новое мифотворчество – он намного легче

⁸ - Совершенно верно! Совершенно верно! Опять с Абсолютом, я все время с Абсолютом, но только через новый материал...

⁹ Эта сциентистская чопорная обстановка...

доходит до обычного, средней образованности читателя, нежели чопорные ученые статьи. Ведь элитарны-то по существу сочинения узкопрофессиональные: читаешь, путаешься в незнакомых понятиях, глазу не за что зацепиться. А у Гачева уж что-то будет знакомое: музыка ли, литература ли, естествознание, философия... Каким-то слоем текст зацепит и незнакомое – известным просветит.

Но таков парадокс времени! Мы настолько привыкли к резко раздельным и несогласованным мыслительным процессам, что синтез представляется нам элитарным, тогда как он – дл всех и дл каждого, он давно уже превратился в насущную человеческую потребность. Ведь после уничтожительного для индивида нашествия узкого профессионализма – только в синтезе можно воскрешение полнокровной личности.

Еще в ту пору, далекую первую нашу встречу меня потрясли эти книжные шкафы, заполненные рукописями, не увидевшими читательских глаз. Только изданные книги входят в лоно культуры, оживают для других. Ненапечатанная книга – она на гранибытия-небытия, она от беды не застрахована. А если почти все твое творчество сосредоточилось в книжных шкафах?

В ту пору общественный идеал пребывал в словах, но отсутствовал в умах, и каждый сам решал что делать. А за окном светилась пронзительная синева, надежда брезжила, как эта весенняя даль, и каждое утро он садился за пишущую машинку.¹⁰

- Я решил выработать для себя свой, личный идеал: жить по истине, жить честно и быть счастливым. – Он засмеялся. – Ничего себе? Как это всё совместить!.. И, кажется, я сумел. У меня есть семья, которая относится с пониманием. Вот я и предаюсь этому пьянству!..

Что это было: действительно литературное пьянство? Уход в себя, и только? Но такому человеку это не будет скучно, потому что уходя в себя – он уходит в человечество. Мир Гачева столь обширен, он вместил в себя столько национальных космосов: Европа, Индия, Китай, Америка – чего тут только нет! В этом мире и литература, и музыка, и философия, и естествознание, и жизни – обычная, земная жизнь. И ощущение всеединства, целостного Бытия, Универсум. И литература, и национальные космосы, и естествознание – это лишь разные окна в постижении этого Единого («Я все время с Абсолютом, только через разный материал»). Но и постижение это – совершенно особенного характера, здесь не умопостигаемое, но «чувственнопостигаемое» Единое. По ранним «неогегельянским» книгам Гачева (которые вышли с опозданием на десятилетия), я представлял, что рефлексия его и личноокрашенные язык и стиль (что необычно для теоретика) – всё это признаки «внутреннего автора», когда в книге запечатлевается автор-создатель, автор в непрерывно текущем творческом процессе. В начале, вероятно, так и было. Но более поздние работы – это уже иной уровень самопонимания, когда действует неожиданная и, с первого

¹⁰ - Как только чувствую, что не идет – я прекращаю, чтобы не высушить.

взгляда, парадоксальная (как и всё у Гачева) формула: «Не я, но мною». Что можно ощутить, когда садишься за писание?.. Гачев не ощущает себя автором. Он словно подключается к какому-то источнику – и...

- Сквозь меня идет и несёт. Я уже ничего не помню, что писал. Вот я настраиваюсь, вникаю, углубляюсь – записал. И дальше я живу, читаю что-то. То есть – «пока не требует поэта...» Это как бы два разных уровня: сейчас я житейский человек, там я – жречество. Жречество – это свой поток, но он подключает, перерабатывает это житейство. И выходит – я персонаж, но не автор. Даже можно сказать – прибор! Я – прибор, мною ставится эксперимент. Как физик-экспериментатор записывает всё новое, что показывает прибор – так и со мной каждый день что-то совершается. Это Единое как таковое я ощущаю через мгновенные жизненные ситуации. Это как бы мгновенная скорость. Вот я записываю жизненную мысль – это есть обломок Единого, это какая-то ипостась Целого мне видится. Но собрать это и строить систему, единый свод – я не чувствую к этому вкуса, и себя вправе не чувствую, потому что жизнь для меня – как гносеологическая лестница. В итоге моего развития через эти записи, может быть, выстроится эта система, но уже не мною, а тем автором, рукой которого я являюсь. Мне же интересно перепускать через себя. Я делаю работу узнавания великих идей – в микроситуациях своей жизни, и наоборот: микроситуация и вдруг – ба! Да это же Декартова проблема! В *этом* интерес. Мне важнее не представление, а мгновенное ощущение. Это не зрительные умственные представления, а, скорее, такие глубинные экстатические пронзения. То есть важно прочувствовать, пережить Единое; жить им, а не представлять.

И в этой роли писца при Абсолюте – тот же синтетизм: каждый Фрагмент жизни видится под знаком Целого, по сути ведь синтез – это и есть стремление к Единому. И это очень характерная особенность синтетического ума и синтетического способа жизни. Он никогда не останавливается на достигнутом: любой результат – конечен и недостаточно «полнокровен», он всё-таки – лишь часть бытия. И с осознанием этого приходит понимание того, что никем не достижимый Абсолют может лишь приоткрываться перед тобой в какие-то мгновения, да и то лишь отдельной своей стороной, но никогда не может быть исчерпан. Ты всё время живешь в состоянии вопроса. И значит твое писание – есть лишь «говорение» этого Единого, тогда как рефлексия твоя – способ его высказаться через тебя. Ты превращаешься в оракула. Но – вот веяние НТР! – ты уже не просто изрекаешь «волю Абсолюта» (как пророки древности), но и стараешься сам «прибор», через который вещает Абсолют, поддерживать в должном порядке. А отсюда и рефлексия (столь не свойственная «тем» пророкам). Здесь та же ситуация, что и в современной физике, когда обнаружилось, что сам прибор может влиять на результаты опыта. В такой ситуации физик обязан постоянно думать об этом возможном искажении опыта, о заранее не предвиденном взаимодействии прибора с испытуемой действительностью. Совершенно тот же случай и здесь, только «физик» и «прибор» – слились в одном лице. И

единственная возможность сохранить опыт «чистым» - это рефлексия, самоанализ: насколько ты сам, как прибор, адекватен поставленной задаче...

От такого мироощущения – лишь шаг до своего жанра. «Жизнемысли» - это дневник, который Гачев ведет всю жизнь, это его духовная лаборатория, тот источник, из которого берут начало все его книги, та питательная среда, которая необходима для роста кристаллов мысли. Сам процесс жизнемыслия – та почва, на которой прорастают семена идей, давая ростки и деревья книг.

Но это не только источник, не только почва. Это и возвращение к той необходимой простоте, которая требует ближайшего соприкосновения мысли, идеи и - жизни. Дневник этот вбирает в себя всё им написанное, отдельные книги (в большинстве – неопубликованные) – это только острова в этом океане. Здесь он писал и о национальном, и о естественнонаучном, и «думу о книге», и мысли о музыке, и «семейные жизнемысли», и мысли о любом жизненном, но с «духовным вектором» происхождения. Здесь происходит главный синтез, который вжился в личность, вошел в привычку, стал навыком. Здесь мысль неотлучается от бытия, от земного, а бытие – одухотворено...

Писать о Гачеве – тоже вживаться: пропустить через себя это многомерное виденье мира, мучиться своим несовершенством. И в то же время осознавать самое грустное: пока ты дока в чем-то одном – тебя свой круг поймет и оценит. А если мало этого, если захочется стать «многомерным» - этим шагом, быть может, обречешь себя на одиночество. И потом будешь рваться куда-то, «днем с огнем» людей искать. А может... Может, останешься один на один с жизнью, замкнешься с нею накоротко и почувствуешь, что стоит за пестрой лоскутностью бегущих друг за другом событий и впечатлений. И почувствуешь радость от общения с каждым, и постигнешь красоту простого.

- Главное увлечение – это деревня, изба. Люблю на природе заземляться: уехать в свою, так сказать, «малую Ясную Поляну» в апреле и вернуться в октябре, пережить весь крестьянский цикл. Ну и семья, любовь. *Это* главное. Ну лыжи ещё, бег... То есть – жить существенными ценностями. Максимально жить среди хорошего – это семья, любовь, природа, творчество, книги – и минимально среди мнимого: город, литература, печать...

Уже вечер, пора идти.

- Я вас провожу. – Он облачается в куртку, нахлобучивает белую заячью шапку. Мы выходим в темноту.

Днём была слякоть, а сейчас летают редкие сухие снежинки. Время замерло между зимой и весной. Зима – как символ старчества, мудрости, и весна – символ пробуждающейся жизни. Мы как корпускулы движемся в поле их притяжения и их противоборства. И движение становится

гармоничным лишь тогда, когда мы родимся с этим полем, когда мы превращаемся в частицы, способные излучать волны.